

ПОЭТЫ И РОССИЯ

Никогда поэты не занимали такого места в русской жизни, как в наше, революционное, время. Ими, с 1905 года пишется самая значительная страница нашего самопознания. Правда, их голос доходит до немногих, и те не всегда имеют уши. Но это в порядке вещей, чтобы пророков не слышали, не слушали и не узнавали. В пророческой же природе современной русской поэзии сомневаться уж нельзя, — слишком она очевидна. И дело, конечно, не в отдельных, «поразительных предсказаниях» (вроде прославленного и затасканного Лермонтовского «Настанет год, России черный год»), в конце концов случайных и лишенных необходимости, а в том, что в наши дни русские поэты снова стали *чувствительцем* народной души, в которой события совершаются раньше чем в мире событий гражданских. Флаг поэзии взвивается ветром истории прежде чем приходит в движение поверхность народного моря.

Поэзия 19-го века была лишена этой пророчесственности. Золотой Век нашей поэзии был обращен лицом в прошлое. Позднейшая поэзия была оторвана от общей жизни России, и питалась поверхностными соками, — отсюда ее худосочие. Одно исключение — Некрасов. У него и, гораздо раньше, у Державина была та сочувственность общей жизни, которой отмечены высшие поэты современности. Поэтому Державин и Некрасов самые близкие нам теперь поэты. Начала Державинское и Некрасовское, — начала восторга и со-страдания, начала современной нам Русской поэзии.

При всем их внешнем, и внутреннем, несходстве, общего у Державина и Некрасова то, что они поэты более чем личные, — гражданские, национальные, политические (*zoön politikon*), словом поэты *общей* жизни. И другие поэты (Пушкин, Тютчев) писали стихи на политические и общественные темы, — во подлинно «гражданские» поэты, как Державин и Некрасов отличаются от других тем, что их творчество устанавливает некоторый знак равенства между общим и частным, и что ими жизнь общая переживается, как неотделимая от своей. У Державина рамки личного раздвинуты настолько,

что включают высокие и обширные переживания торжествующей России; у Некрасова, наоборот, «страдания народа» как бы сжимаются до совпадения со страданиями личными.*) Но и у того и у другого общее слито с личным, и поэт — чувствительное «общество». Отсюда свойственная обоим поэтам гиперболичность, некоторое, как бы, отсутствие чувства меры, столь резко отделяющее их от великого гуманиста и «личника» Пушкина.

При таком сходстве, такое же, если не еще большее различие. Победный, восходящий, мажорный строй Державина —

«Необычайным я наречьем
От гленна мира отделюсь».

И мученический, нисходящий, минорный у Некрасова —

«Холодно, страшичек, холодно,
Холодно, родименькой, холодно».

В поэзии предреволюционной, поскольку она была «гражданской», господствовало начало Некрасовское. Начало Державинское, после больше чем столетнего сна, впервые вновь зазвучало в поэзии, гражданской и негражданской, наших дней.

Когда после 1905 года впервые были услышаны гражданские, «некрасовские» стихи символистов, на них мало обратили внимания, разве что удивились, как это «декаденты», начинавшие реакцией против «гражданской поэзии» 80-х годов (которая не была, конечно, ни гражданской, ни поэзией, а всего только интеллигентским дребезжаньем), вдруг занялись не своим делом. На поверхности «общественного» сознания эпоха Третьей Думы была одной из самых благополучных, наименее трагических эпох Русской истории. Новая, обуржуазенная, интеллигенция устраивалась не на вулкане. Был Золотой Век эстетики и эконимики. Революция исчезла. Мы обогащались и развивались, и с высоты *Аполлона* и *Речи* посматривали с презрением на допотопное *Русское Богатство*. Но в глубине национальной жизни происходило другое. И то, чего не слышали газеты, слышали поэты. Гражданская поэзия Блока (и в меньшей мере Белого) была ветром из близкого будущего, ветром —

*) У Некрасова есть и другой путь совпадения с общим, с этим несходный, путь подлинного народного, сверх-индивидуального творчества («Коробейники» «Кому на Руси жить хорошо» и т. д.) в котором «страдания» уже преодолеваются общностью.

С Галицийских кровавых полей

за которым вставали

Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.

Новое, высокое бремя пророчества и сочувствования с еще не наставшими страданиями народа принимали на себя поэты, и особенность этого факта подчеркивалась тем, что принимал это бремя, самый индивидуальный, самый замкнутый, самый бесплотный из поэтов. Не менее удивительно была пророческая и некрасовски сочувственная настроенность у поэта еще более личного, (и к тому же гораздо менее стихийного и очень «только-человеческого») — Анны Ахматовой, в стихах ее написанных в июле 14-го года. И еще удивительнее, может быть, первые звуки «Державинской» гражданственности, (первые раскаты революционного грома) в поэмах написанных в глушайшие для Революции годы войны, — шарлатаном и шутком, ходившим еще тогда в желтой кофте и вкем из революционеров в серьез не принимавшимся — Владимиром Маяковским. Все эти предчувствия не были случайны и разрознены, — они органически и неразрывно входил в целое творчества каждого из этих поэтов (теряли даже свою понятность вне связи с этих целым). Вместе же они сливались в один грозный гул надвигающихся Событий.

Переставши после Революции быть пророческой, «Некрасовская» линия не сразу умолкла и не сразу ослабла. Наоборот, самые, может быть, сильные ее создания возникли после События — *Двенадцать* Блока, лучшие гражданские стихи Ахматовой. Но общая *тональность* русской поэзии стала меняться. Ее равнодействующая впервые после многих поколений из нисходящей стала восходящей: Есть символический смысл в дате и в имени книги Бориса Пастернака, написанной летом семнадцатого года, — *Сестра Моя Жизнь*: на человеческой памяти ни один русский поэт с такой сестрою не братался.

В младшей, после-революционной поэзии господствует мажорная, восходящая, «Державинская» тональность. Державинское начало воскресло в поэзии Гумилева, Маяковского, Пастернака, Марины Цветаевой. (То, что эти поэты существовали уже до 17-го года, кроме общеизвестного факта, что история не считается с хронологией, только подтверждает пророческую природу поэзии).

Кроме мажорности, этих поэтов объединяет еще одна черта, —

то, что можно было бы назвать их не-, или сверх-человечностью. В этом опять, они через голову 19-го века подают руку Державину. Узкие границы человеческой меры, предписанные нам Пушкиным и укрепленные великими реалистами — перейдены. Мир возвращается в поэзию. Северное Сияние Ломоносова перекликается с Солнцем Маяковского, и золотые стерляди Державина с красными быками Гумилева. И не только 18-ый век (наше средневековье, по верному слову Кохановской, и, конечно, раннее средневековье космических мифов, а не схоластиков и трубадуров) приближается к нам. До-Петровская Россия, Аввакум и Игорь, и вся народная поэзия (уже не в сентиментально-славянофильском преломлении) становятся нам ближе. «Вдруг стало видно далеко во все концы света», слова Гоголя, знаменательно стоящие эпиграфом к одному из удивительнейших стихотворений *Сестры моей жизни*. И Россия, как единство, как один рост, «от князя Игоря до Ленина» для нас реальнее и зримее, чем была когда нибудь.

И еще одно — современная, рожденная из декадентства, «оторванная от почвы», настойчиво-индивидуальная и оригинальная поэзия наших дней, чуть ли не впервые за все существование нашей литературной поэзии, перекликается с поэзией народной — с современной частушкой.

Ки. Д. Святополк-Мирский